

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)
М91

Серия «Мастера фэнтези»

Michael Moorcock
GLORIANA, OR THE UNFULFILL'D QUEEN

Печатается с разрешения Multiverse Inc. и литературных агентств
Baror International, Inc. и Nova Littera SIA.

Перевод с английского: *Николай Караев*

Дизайн обложки: Воронин В. А.

В оформлении обложки использована иллюстрация

Дарьи Кузнецовой

Муркок, Майкл

М91 Глориана; или Королева, не вкусившая радостей плоти /
Майкл Муркок.— Москва: Издательство АСТ, 2016.— 510 с.—
(Мастера фэнтези).

ISBN 978-5-17-088614-2

После долгих лет ужаса и террора в Альбионе настал Золотой век, эпоха мира и процветания. Страной правит королева Глориана, чья империя охватывает большую часть известного мира. Ее любят подданные, перед ней преклоняются иностранные послы, но чудовищное прошлое не отпускает ее, и призрак правления ее отца, безумного короля Герна, незримо витает над совершенной страной, отравляя страхом все вокруг.

Хрупкое равновесие мира поддерживает канцлер королевы, творец новой просвещенной эпохи лорд Монфалькон. Он еще не знает, что, допустив лишь одну ошибку, приведет в действие зловещий план, способный погрузить Альбион в хаос и отчаяние, не подозревает, что сплетенная им изысканная паутина интриг и шпионажа вскоре обернется против государства, а его самый блестящий шпион, капитан Квайр, злодей без страха и упрека, пойдет против собственного хозяина. И теперь в опасности все, даже сама королева.

Подписано в печать 20.05.16.

Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 32,0.

Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 1; 953000 — книги, брошюры

© 2004 by Michael and Linda Moorcock
© Николай Караев, перевод, 2016
© Дарья Кузнецова, иллюстрация, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Примечание автора:

*Сей куртуазный роман, не будучи
ни «елизаветинской фантазией»,
ни исторической беллетристикой,
имеет некое отношение
к «Королеве Духов».*

Посвящается памяти Мервина Пика

Глава Первая,

*В Коей Представлен Дворец Королевы Глорианы
Вкупе с Описанием Иных Его Обитателей
и Кратким Изложением Всяческих Деяний,
Имевших Место во Граде Лондоне в Канун Новогодья,
Завершавшего Двенадцатый Год Правления Глорианы*

Дворец размерами схож с порядочным городом, ибо на протяжении столетий его флигели, его домики для челяди и дома для гостей, особняки его камергеров и фрейлин соединялись крытыми переходами, а крытые переходы своим чередом обзаводились крышами, так что мы всюду находим коридоры внутри коридоров, будто водоводы в туннеле, дома внутри залов, а залы — внутри замков, а замки — внутри искусственных гротов, целокупность же сего опять обнесена кровлей из черепицы золотой, серебряной и платиновой, мраморной и перламутровой, отчего дворец сияет тысячью цветов на солнце, мерцает неустанно под луною, стены его колеблются как бы волнообразно, крыши его взмывают и ниспадают чарующим приливом, башни его и минареты его дыбятся мачтами и остовами погибших кораблей.

Внутри дворец редко бывает тих; сюда прибывают и отсюда отбывают высшие дворяне и дворянки в парче, шелке и бархате, в цепях золотых и серебряных, с филигранными стилетами, в белоснежных вертугальях, со струящимися позади мантиями и шлейфами, порою под-

держиваемыми мальчиками и девочками в нарядах столь весомых, что, кажется, они еле шагают. Из более чем одного места доносится выверенная, изысканная музыка, в такт коей ступают и знать, и прислуга. В иных холлах и залах репетируются маскарады и спектакли, даются концерты, пишутся портреты, эскизируются фрески, ткуются гобелены, вырезаются каменные скульптуры, декламируются стихи; там же волочатся, совокупаются, ссорятся с пылом, обычным для недр подобных вселенных. А в забвенных пространствах между стен живут питаемые падалью обитатели сумеречья: бродяги, опальные слуги, забытые любовницы, соглядатаи, отторгнутые обществом сквайры, дети любви, изуродованные, брошенные шлюхи, слабоумные родственники, отшельники, безумцы, романтики, что приемлют любые муки ради нахождения близ источника власти; беглые заключенные, разорившиеся пэры, стыдящиеся показаться в нижнем городе, отвергнутые ухажеры, уклоняющиеся мужья, гонимые страхом влюбленные, банкроты, хворые и завистники; все они живут и грезят поодиночке или отдельными сообществами с четко означенными территориями и обычаями, обитая раздельно с теми, кто населяет ослепительно освещенные холлы и коридоры дворца в собственном смысле слова, и все же бок о бок с ними, но почти не подавая признаков жизни.

Под дворцом распростерся великий город, столица Империи, полная злата и славы, обитель авантюристов, купцов, виршеплетов, драматургов, чародеев, алхимиков, механиков, ученых, философов, ремесленников любых мастей, сенаторов, книжников — здесь имеется громадный Университет, — богословов, живописцев, актеров, пиратов, ростовщиков, разбойников, танцоров, музыкантов, астрологов, архитекторов, жестянщиков, рабочих, что трудятся на исполинских дымящих мануфактурах на окраинах столицы Альбиона, пророков, иноземных парий, дрессировщиков, миротворцев, су-

дей, лекарей, щеголей, кокеток, знатных дам и благородных лордов; все вместе мельтешат они в городских пивных, трактирах, театрах, операх, корчмах, концертных залах; здешние судилища, виноторговые дома и созерцательные площадки, являя взору парады фантастических костюмов, любой ценой избегают единообразия, так что и остроты городских сорванцов жалят не слабее изысканнейшего рассуждения сельского лорда; плебейская речь беспризорников сочится метафорами и уснащается аллюзиями до такой степени, что древний стихотворец продал бы душу, чтоб заговорить языком лондонского подмастерья; однако же речь сия практически неперевожима, она таинственнее санскрита и меняет формы день ото дня. Моралисты порицают такие обычаи, хулят нескончаемый спрос на пустую новизну ради новизны и утверждают, что грядет декаданс, неизбежный итог падкости до острых ощущений, но требование необычного от художников, хоть и означающее заведомо, что худшие из них будят лишь ощущения свежие и неглубокие, понуждает лучших творцов пламенить собственные пьесы глаголением и живым, и витиеватым (ибо они знают, что будут поняты), деяниями и мелодраматическими, и невероятными (ибо они знают, что им поверят), дискуссиями почти по всякому вопросу (ибо многие станут за ними следить), и ровно таким же манером действуют лучшие музыканты, поэты, философы — не исключая безыскусных прозаиков, кои требуют признать законнорожденность своего откровенно низкосортного искусства. Если коротко, наш Лондон бурлит на всяком уровне; мы вольны подозревать, что и его паразиты способны к речи, так что блоха переговаривается с блохой в рассуждении, конечно или бесконечно число собак во вселенной, крысы же глубокомысленно пререкаются о том, что случилось раньше, пекарь или хлеб. А там, где язык пламенеет, поступки следуют его примеру, и поступки равным образом окрашивают язык. В сем городе

совершаются великие подвиги во имя Королевы, чей дворец взирает на сии подвиги свысока. Отправляются в путь экспедиции, вершатся открытия. Изобретатели и исследователи обогащают Державу: в город впадают реки-близнецы, имя первой — Знание, другой — Золото, и озеро, что образуют они, есть вещество Лондона, перемешавшее в себе две равные части. Здесь и раздоры, само собой, и злодеяния: страсти сильны и пьянящи, преступления жестоки и кошмарны, ибо ставки безмерно высоки; алчба колоссальна, честолюбие сделалось Верой для избыточно многих — дурман, болезнь, чаша неосушаемая. Но немало здесь и познавших добродетели богатства; просвещенных, человечных, милосердых, великодушных; блюдущих требовательнейший стоический обычай; выказывающих благородство и служащих примером для подражания ближним, как богатым, так и бедным; высмеиваемых за серьезность, поносимых за смиренность, завистуемых за самодостаточность. Пышным благочестием зовется иногда образ жизни таких людей, и некоторые из них воистину таковы — лишённые юмора, лишённые иронии. Сии горделивые князьки и промышленные бароны, авантюристы-коммерсанты, жрецы и книжники следуют правилам, но, тем не менее, остаются индивидами — даже эксцентриками, — хотя все готовы служить Народу и Империи (в лице Королевы) и не постоят за расходом, даже, если потребуется, расстанутся с жизнью; ибо Государство Всеобщее и Королева Праведна. Лишь вторым делом мужчина и женщина совещаются по какому-нибудь вопросу со своей совестью, ибо полагают любые личные решения подчиненными нуждам Государства.

Так в Альбионе было не всегда, и никогда еще дела не обстояли так, как ныне, в правление Глорианы; ибо те, кто, не щадя усилий, хранит обширное Содружество в равновесии, превращает его в единый организм, хранит его устойчивость, — все они верят, что равновесие сие поддерживает единственная сила: Сама Королева.

Круг Времени провернулся: от золотого века к серебряному, от медного к железному — а теперь, с Глорианой, обратно к золотому.

Глориана Первая, Королева Альбиона, Государыня Азии и Девствия, есть Владычица возлюбленная и почитаемая богиней многими миллионами подданных — и вселяющая восторг и уважение в сердца куда более множественных миллионов по всему земному шару. Для теолога (кроме радикальнейших) она — единственный представитель богов на земле, для политика — воплощение Государства, для поэта — Юнона, для простолюдина — Мать; любовь к ней единит святого и злодея. Если она смеется, Держава радуется; если плачет, Народ горюет; если возникнет у нее нужда, миллионы вызовутся удовлетворить ее; если воспыхает она гневом, многие придут, дабы свершить возмездие над его причиной. И оттого на плечи Глорианы ложится почти невыносимая ответственность. Оттого она обязана всякий аспект жизни подчинять дипломатии, не выказывая ни чувства, не выражая ни требования и относясь уравнительно ко всем просителям. В ее Правление не было ни казней, ни самовольных заточений, продажные слуги народа неутомимо отыскивались и отставлялись, суды и трибуналы отправляют правосудие над нищими и сильными мира сего без разбора; многие из погрешивших против буквы закона освобождаются, если обстоятельства их злочинств таковы, что невиновность очевидна, — так успешно упразднена несправедливость Закона Прецедента. В городе и на лугу, в деревне и на мануфактуре, в столице и в колонии равновесие поддерживаемо личностью благородной и человеческой Королевы.

Глориана, единственный ребенок Короля Герна VI (депота и дегенерата, предавшего Государство и изменившего долгу, повелевшего отсечь сотни тысяч голов, трусливого губителя своей души), Властительница, в чьих жилах течет древняя кровь Эльфикля и Бругия, ниспровергшего

Гогмагога, ни на миг не забывает о любви к ней подданных и возвращает их любовь; однако чувство сие, даруемое и принимаемое, для Королевы бремя — бремя столь великое, что она едва ли признаёт его наличие; бремя, составляющее, надобно думать, основную причину ее неимоверного частного горя. Не то чтобы Держава не ведала о сем горе; о нем шепчутся в Великих Домах и простых трактирах, поместьях и семинариях, и поэты в стихах смутно намекают на него (без ехидства), и иноземные враги размышляют, как использовать его в своих интересах. Старинная молва называет его Проклятием Ее Величества, а ряд метафизиков утверждает, будто оно отражает Проклятие, лежащее на человечестве в целом (или, может статься, конкретно на жителях Альбиона, если метафизик желает заработать симпатию-другую провинциалов). Многие пытались снять Проклятие с Королевы, и Королева поощряла их; никогда не теряет она надежды. Были испробованы сильнодействующие и фантастические средства, но без успеха; Королева, шепчет молва, еще горит; Королева еще стонет; Королева еще рыдает, ибо не может вкусить радостей плоти. Даже вечные балагуры в пивных не острословят на сию тему; даже пуристаннейшие, фанатичнейшие проповедники не извлекают морали из ее страданий. Мужчины и женщины умирали гротескными смертями (хотя и без ведома Королевы), дабы пролить свет на Королевское Затруднение.

День за днем Королева Глориана красотой и достоинством, мудростью и силой управляет делами Государства в согласии с высокими идеалами Рыцарства; бесконечными ночами взыскует она удовлетворения, последнего отрешения, избавления, коего по временам почти настаивает, однако в последний момент, потерпев фиаско и упустив плотскую радость, погружается обратно в агонию беспросветности, страдания, самоненавистничества, осознания, смятения. Утро за утром восстает она, пресекая всякую собственную печаль, дабы вновь исполнить

свои обязанности, читать, подписывать, жаловать, обсуждать, принимать эмиссаров и ходатаев, окрещивать корабли, открывать монументы, посвящать сооружения, присутствовать на празднествах и церемониях, являть себя народу живым символом незыблемости Державы. Вечером же она станет изображать перед гостями хозяйку, беседовать с ближайшими к ней придворными, друзьями и родственниками (включая девятерых ее детей); а оттуда — опять в постель, в бездну поиска, в пучины экспериментов; и, когда, как обычно, завершатся они неудачей, она вновь будет лежать без сна и иногда оглашать покои жалобами, не ведая, что тайные залы и переходы обширного дворца ловят и усиливают ее глас, донося его почти до любого уголка. Тогда Королевский Двор разделяет ее печаль и ее бессонье.

«О, томление! Да я набила бы лоно свое планетами, если б могли они заполнить пустоту во мне! Сия попытка слишком ужасна. Я вынесла бы любую иную. Неужто нет на свете ничего и никого, могущего насытить мою потребность? Если бы, умирая, я испытала освобождение, хоть разок, — я по своей воле сдалась бы любому кошмару... Но нет, се измена. Мы — Государство. Мы служим, мы служим... Ах, найдись в целой Державе хоть кто-то, кто послужил бы нам...»

В огромной соболье-бобровой опочивальне возлежит, глядя облеченными в шелк руками обеих обнаженных жен, лорд Монфалькон; он вслушивается в речи, что доносятся до него шептанием и редким вскриком, и он знает, что речи сии срываются с уст Королевы, пребывающей в четверти мили отсюда в своих покоях. Она — дитя, надежда, кою он с безумным идеализмом охранял в течение всей убийственной, эйфорической тирании и чудовищного правления ее отца. Лорд Монфалькон вспоминает свои верноподданнические попытки отыскать ей любовника — неудачу, изрядную досаду. «О, мадам, — вздыхает он легко, чтобы не услышали возлюбленные, —

будь вы всего только Женщиною, не Альбионом. Будь ваша кровь иною». И пододвигает жен поближе, дабы кудри каждой укрыли его уши и препнули его слух, ибо он не станет плакать нынешней ночью — сей храбрый старец, ее Канцлер.

«...Никто не погубит меня. Ничто не воскресит. Неужто так и было тысячу лет? Три сотни и шестьдесят пять тысяч больных дней и гиблых ночей...»

Крадущийся новооткрытым туннелем, дабы умыкнуть еду из дворцовой кладовой, Джеффраим Саллоу, изгой и циник с маленьким черно-белым котом на плече, единственным другом, замирает, ибо слова бьют в барабаны его перепонок, бьют по костям, бьют по утробе.

— Сука! Вечно у нее течка, только вот ублажиться ей невмочь. Однажды ночью, обещаю, я вкрадусь и обслужу ее как следует — если не к ее, то к собственному удовольствию. Да я отсюда чую фимиам ее впадины. Он-то и приведет меня к ней.— Котик еле слышно мяукает, напоминающая Саллоу о цели путешествия, и погружает когти в тонкий перелатанный хлопок. Саллоу обращает кроткий, трусливый глаз к компаньону и пожимает плечами.— Хотя многие пытались, и самыми разными способами. Она — лабиринт большей частью изученный, лишенный центра.

Он скользит вдоль металлического изгиба, достигает каменного воздухопровода, ведущего к забытой клоаке, озирает галерею скрипучих балок и капающих труб, семенит по грязи, его свеча оплывает жиром, он ныряет в проем с трухлявыми краями, что похож на дыру в конуру. Его нос дергается. Саллоу ловит струйку аромата свежезажаренного мяса. Облизывает жадные губы. Кот мурлычет.

— Не слишком-то мы близко к кухням, Том.— Саллоу хмурится, потом дает коту спрыгнуть и юркнуть в маленькую дверь и следует, извиваясь, за ним, пока оба не

упираются в резную деревянную решетку, за коей гарцует в камине огонь. Изгой приближает глаз к отверстию. Он видит один из гигантских дворцовых залов. Прямо напротив, на колоснике увядает пламя. Длинный стол усыпан останками пиршества — и отдельными пирующими, лежащими на столе и подле. Саллоу зрит говядину, баранину и дичь, вино и хлеб. Он пробует панель на прочность. Та трещит. Он ищет щеколды, а находит гвозди. Берется за короткий нож, свисающий со шнурка на шее, подтягивает его к верхнему краю решетки и использует как рычаг, давя на гвоздь так, что та грозит расщепиться. Обрабатывает ножом периметр панели, ослабляя ее. Затем, вцепившись в решетку пальцами, толкает ее свободной рукой и отделяет от стены. Втащив внутрь, бережно ставит решетку позади себя, после чего смотрит вниз. До каменных плит пола далековато; вернуться тем же путем не получится, разве что придвинуть мебель, но тогда делается ясно, как он сюда попал. Кот, презрев хозяйскую осмотрительность, полурыча-полуурча взвизывает и одним длинным прыжком достигает стола. Решение принято за Саллоу, и тот перемахивает через край, повисает на пальцах, затем падает, задевая скамеечку, не замеченную с высоты, и обдирает голень. Бранится и прыгает на одной ноге, сует нож в футляр под рубашкой, разворачивается и спешно хромает к столу — котик уже насел на индейку. В туннелях всегда зябко, и Саллоу осознает всю степень своих лишений, лишь ощутив жар огня. Он несет добрую часть оковалка к очагу, усаживается пред самым камином и начинает жевать, косясь одним глазом на похрапывающих гостей — судя по костюмам, увеселителей, что немного переувеселились. Внезапно их фигуры озаряются светом, Джефраим в испуге замирает, затем поднимает взгляд к оконным проемам под крышей; в его собственных владениях окна весьма непривычны. Лунное сияние заливает помещение. Белые клоуны и лоскутные харлекины покоятся на серебряной парче, точно

мертвые гуси на снегу; их личины забрызганы вином, кое по мере того, как расплывается месяц, из черного делается красным. Напудренные лица в масках, покоящиеся на вытянутых руках, перекошены; багровые рты разверзаются в зевоте, накрашенные брови подрагивают, и Саллоу воображает, будто все они убиты, и ищет оружие, но, узрев только хлопушки, надувные дубинки и деревянный огурец, унимается и всецело отдается мясу, ощущая, как раздувается желудок, и вздыхает, обратив вновь румянящееся, перепачканное жиром лицо к умирающему огню, и слизывает аппетитный мясной сок с искривленных губ (неизменная улыбка спасла его от стольких же бед, сколько грозила породить). Котик первым поднимает взгляд, не выпуская из челюстей зажаренное крыло, и Джефраим тотчас слышит гром шагов. Он бросается за вином, натывается на слишком легкую бутылку, хватается еще одну, почти полную, смотрит на дверь, понимает, что с мясом и вином не ускользнешь, и ныряет под стол, потревожив всхрапывающего Дзанни в блузе, кислой от рвоты; левая рука актера зарылась в одежды сомнительной Исабеллы, от коей просто разит фиалками. Скрестив ноги возле собутыльников, Джефраим наблюдает за далекой дверью; в нее, мрачно топоча, входит некто, кого он узнаёт, — никто иной не напялил бы столь разукрашенные и бесполезные доспехи в столь поздний час, если того не требует какая-нибудь церемония. Се сир Танкред Бельдебрис, Воитель Королевы, как водится, несчастный — он лишен радостей наравне с Королевой, коей служит, ибо Глориана взяла с него слово не вершить насилия ее именем, а также именем Рыцарства. Сир Танкред встает как вкопанный и озирает холл. Он направляется к зеркалу, что отражает огонь. Длинные усы сира Танкреда никнут, и он пытается подкрутить их, пропуская меж оголенных пальцев (причудливо выступающих из груди облекающего Воителя металла). Он добивается успеха, но не слишком значительного. Вздыхает, с лязгом

движется к столу и, полагает Джефраим, наливает себе чашу вина. Изучая золотые наколенные шипы благородного рыцаря, Саллоу поднимает свою бутылку и присоединяется к сирю Танкреду на глоток-другой.

Скрипит дверь, и он, вывернув шею, наблюдает сперва трио бодро пылающих свечей, а потом и контуры девушки, несущей канделябр. На ней громоздкая мантилья, накинута поверх едва ли менее громоздкой ночной сорочки. Лицо девицы в тени, но зрится юным и нежным. Над ним в придачу громоздится темно-рыжая грива. С губ девы срывается тяжелый нетерпеливый вздох.

— Скоры вы, сир Танкред, отступать в глупую хандру. Сир Танкред оборачивается, побряцывая.

— Вы вините меня — но именно вы, леди Мэри, презрели мои объятия.

— Я всего лишь устрашилась, что безделки ваши пронзят меня, и предложила избавиться от доспеха, прежде чем обниматься. Я отвергаю не вас, Танкред, милый мой, но ваш костюм.

— Доспех есть знак моего призвания. Он такая же часть меня, как душа, ибо обнаруживает ее природу.

Леди Мэри (Саллоу гадает, не младшая ли она из дочерей Жакотт) скользит по полу, сближаясь с сиром Танкредом, и Джефраима обвеивает исходящее от нее тепло. Он уже вожделеет ее, уже строит с некоторой безнадежностью планы, чтобы в итоге заняться с нею любовью.

— Танкред, возвернемся. Старый Год минул, хоть я и клялась, что он пройдет не прежде, чем мы с вами разделим любовь. Давайте, молю вас, вступим в Новый Год, кончив Старый должным образом.

Дзанни стонет и содрогается. В его глотке булькают остатки блевотины. Он кашляет, вновь марая свою блузу. Сильнее сжав то, что он держит внутри Изабеллы или на ней, Дзанни выводит громкие, чуть самодовольные рулады, беспокоя любовников.

— Сердечко мое, — щебечет юная Мэри Жакотт.

— О, в самом деле, сердечко мое! — отвечает Саллоу очень спокойно.

Мэри наваливается на руку Танкреда.

Не в силах сдержать порыв, Саллоу берет руку Дзанни и простирает ее к ноге Воителя, а сам тянет Танкреда за железную лодыжку; рыцарь буксует, моментально пинает руку, видит невинные пальцы Дзанни и приостанавливается, дабы запихнуть их утонченным железным носком обратно под стол. Саллоу сделал все, что, кажется ему, мог сделать, и грустно взирает на любовников, а те, шурша и гремя, удаляются в покои леди Мэри.

Радуясь избавлению от компании Дзанни, Саллоу поднимается из-под стола, отыскивает пробку, закрывает бутылку и сует ее за пояс, тихим свистом окликает Тома, бережно бросает kota в проем, встает на цыпочки у скамейки, поцарапавшей ему голень, цепляется длинными пальцами за выступ, подтягивается, исчезает в дыре, после чего по возможности аккуратнее возвращает панель на место, ощущая туннельный холод впереди и уже раскаиваясь в поспешном бегстве от огня. Он вздыхает и ползет своим путем.

— Вот оно что, Том, мы празднуем Канун Новогодья.

Однако Том уже далеко, он преследует мышь и не слышит хозяина. Извиваясь вслед за проворным зверем, Саллоу слышит высокий, будто флейтой рожденный вопль.

Все сие время мастер Эрнест Уэлдрейк сидел в углу зала. Он видел, как пришел и ушел Саллоу, он подслушал любовников, но был слишком пьян, чтобы шевелиться. Ныне поэт встает, находит перо там, где бросил его час назад, находит книжку для записок, в коей писал вирши, оттаптыгает пальцы Дзанни, уверяется, что сокрушил мелкого грызуна, хватая себя за почти багряные кудри и издает новый вопль:

— О, зачем разрушенья вручен мне удел?

Он покидает холл в поисках чернил. Именно за чернилами поэт вышел ранее из своих покоев, расположенных